М. ЖИВОВ

ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О КРЕСТЬЯНСТВЕ В ПАНСКОЙ ПОЛЬШЕ



ГОСЛИТИЗДАТ · 1939

М. Живов

ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О КРЕСТЬЯНСТВЕ В ПАНСКОЙ ПОЛЬШЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1939






ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор М. Корнев. Художник Б. Шварц. Технический редактор С. Симонов. Корректор Ю. Стружестрах.

Сдано в набор 20/X 1939 г. Подписано в печать 1/XI 1939 г. Х-20. Ж67. Заказ изд-ва № 175. Зак. тип. № 1320. Тираж 20000. Формат бумаги 70×92¹/₃₂. Авг. л. 2¹/₂, печ. л. 2¹/₄. Уполномоч. Главлита РСФСР № А—20734. Цена 50 коп.

18-я тип. треста «Полиграфкнига», Москва, Шубинский пер., д. 10

1. КТО ПРАВИЛ ПОЛЬШЕЙ?

Памятники литературы живут тысячелетия, сохраняя для грядущих поколений минувшую историю народов. Они доносят из дали веков славу героических дел, но они же неумолимо проносят через столетия и мрачную быль, пронизанную пороком и преступлением.

Что расскажет польская литература будущим поколениям о последнем двадцатилетии польской истории, гордо и лживо именовавшемся новой эрой возрождения Польши?

Польская шляхта, захватившая власть в стране, с помощью своих цензоров и жандармов неистово душила польскую литературу, всеми способами и средствами преследуя каждое живое, свободное слово. Но правда, преодолевая все препятствия, завоевала себе место в польской литературе, проникла и в книги многих буржуазных писателей, несмотря на все их старания приукрасить мрачную польскую действительность. И сегодня особенно интересно заглянуть в польскую литературу, в которой, как в зеркале,— хотя подчас и кривом,— отразились все по-

роки и преступления, приведшие польское буржуазно-помещичье государство к упадку, развалу и гибели...

Уже в медовый месяц фиктивного брака «возрожденной» Польши со свободой, когда не умолкли еще торжествующие литавры, возвещавшие воскресение «христа народов»,— так называли Польшу ее реакционные идеологи,— в веселых свадебных маршах уже слышались унылые звуки похорон. В белом орле, распластавшем над страной свои помятые крылья, очень скоро и четко обозначился силуэт хищного коршуна, искавшего кровавую добычу.

Отрезвление наступило чрезвычайно быстро. Рабочим в первый же миг было ясно, что новые хозяева страны будут править во имя своих интересов, против интересов трудящихся. Крестьяне увидели себя окруженными смертоносным кольцом трехликого удава — на них наступал «свой» польский помещик, «свой» польский жандарм и «свой» польский ксендз. Волна разочарования захлестнула и большинство польской интеллигенции, ту часть ее, которая с наивной честностью верила в приход новой эры, когда шла сражаться в легионы Пилсудского, которая дала таких мужественных борцов, как Багинский и Вечоркевич, подло и предательски убитых теми же польскими жандармами. Это глубокое и горькое разочарование не могло не коснуться и тех польских буржуазных писателей, которые находили порой в себе смелость хоть сколько-

нибудь честно заглянуть в глаза польской действительности и хоть сколько-нибудь правдиво отразить ее.

Писатель Андрей Струг в начале своей литературной деятельности считал себя революционером, состоял в ППС (польской социалистической партии) и свои произведения посвящал преимущественно жизни польского революционного подполья. Но в «независимой» Польше он очень быстро забыл и эти свои весьма сомнительные революционные увлечения юношеской поры. Его мечты и стремления отнюдь не были направлены к созданию подлинно свободной Польши. В своих романах он чернил Великую Социалистическую революцию в СССР и клеветал на русский пролетариат. Но то, что он увидел в «возрожденной» Польше, наполнило и его чувством протеста и возмущения.

В своем романе «Поколение Марка Свиды» он так охарактеризовал первый период установления польской государственности:

«Янка изредка наезжала в Варшаву за новостями... В Польше творилось что-то совершенно непонятное. Изумляла ее мрачность города и людей. И это столица государства в исторический первый год свободы?! Куда бы она ни показалась, ее начиняли страшными рассказами о хищениях, об изменах, о свинствах, о взяточничестве и разложении во всех учреждениях... Отряды народной милиции дефилировали по улицам с настоящей военной выправкой, распевая открыто и официально «Красное знамя»: «Тогда судьями будем мы...» Тогда — это означало сегодня, завтра. Все висело на волоске: было иллю-

зией, мимолетным сном... Кругом говорили: «Нет, из этого ничего не выйдет!— Надо отдать власть французам! — Нет, только американцам!.. — Нам бы большевиков, хотя бы на три месяца!»

И в другом месте: «Янка привезла из Варшавы множество тревожных вестей. Положение чрезвычайно грозное. Нет путеводной мысли. Приличные люди тонут среди обывательщины и спекулянтов, которые руководят всем. Какая грязь! Интриги! Скандалы! Все развращено до основания, даже молодежь!»

В этом романе Андрей Струг стремился нарисовать, правда, по-своему, трагедию нового, молодого поколения Польши, созревшего в боях за польскую независимость, готового отдать свои силы за создание новой жизни. Шовинистически-националистические разглагольствования Струга не могут скрыть истинного положения вещей, не могут скрыть потрясающей картины развала, обнаружившегося уже в первые годы существования «самостоятельной» Польши.

Герой романа Марк Свида сперва действительно был исполнен наивных, но честных стремлений и веры. Он искренне возмущался циничной «теорией» своего школьного товарища Мариана Плохинского относительно принципов, на которых должна была создаваться «новая» власть. «Каналья,— утверждал Плохинский,— это творческая личность... Каналья обладает боевыми достоинствами: смелость риска вплоть до преступления, горячность, упорство...». «Теперь в самом

почтенном деле,— говорил он,— нельзя шагу сделать без канальи», потому что у канальи «талант, ум, нюх и прежде всего характер».

Однако Марк Свида очень скоро убедился, что эта «теория» не измышление Плохинского, что она взята из практики, что принцип этот широко проводится в жизни. Он увидел воочию: «Каждый и все рискуют, проигрывают и отыгрываются, подсматривают в карты партнеру, делают «вольты», играют краплеными картами. Горе тому, кто в этот колоссальный игорный притон является с каким-то творческим планом и воображает, что он останется честным...» Свида увидел всё ничтожество людей, взявшихся строить «новую» Польшу. Они,— читаем мы дальше,— «не могли даже притворяться, будто они что-то знают, к чему-то стремятся... Всеобщим ополчением ринулись они в атаку на завоевание портфелей, и каждый вел за собой колонну приятелей, шуринов и зятьев, развращенных алчными надеждами».

Марк Свида мог сколько угодно возмущаться, когда Плохинский уверял его, что канальи завладели страной, но не мог не видеть этого сам буквально на каждом шагу. «Когда он входил в здание сейма, он был не в силах отогнать от себя все гнусные и омерзительные видения, которые наползали на него, точно из засады, из всех углов и ползли за ним шаг за шагом, наступая на пятки... Все они (депутаты сейма) выглядели так, словно стыдились самих себя, словно сами себе опротивели до невероятности, словно им уже все давно надоело и наскучило... На всем лежало свое пятно — не то застарелая

пыль, не то плесень, не то налет мильярдов произнесенных здесь пустых слов, всех часов, зря потраченных на бесплодные дискуссии, всех интриг и мошенничеств».

Он возмущался теперь не своим другом Марианом Плохинским, а теми канальями, которые завладели его родиной. И, оглянувшись на свой пройденный путь, Марк Свида от лица молодого поколения Польши должен был задать себе вопрос: «На что ушла моя жизнь?» и должен был дать себе суровый и печальный ответ: «Не стоило жить».

Неужели смерть — единственный выход, который открывался разочаровавшемуся молодому поколению Польши? Андрей Струг не решился продолжить свою мысль. Это сделал за него другой, близкий ему по умонастроению, писатель — Стефан Жеромский в своем романе «Ранняя весна». Герой этого романа Цезарь Барыка был в России во время Октябрьской революции. Немудрено, что герой буржуазного писателя оказался недовольным революцией и теми изменениями, которые она внесла в жизнь страны. Но Цезарь Барыка поверил своему отцу, сражавшемуся в легионах Пилсудского, будто в новой Польше все будут жить в «стеклянных домах» — в хрустальных дворцах, не зная бед и забот. И он вернулся на родину.

Вместо «стеклянных домов» Цезарь Барыка застал мрачные бараки и убогие хаты, гнезда нищеты и мрака. В столице он нашел грязные кварталы, населенные еврейской

беднотой. Он видел, как «в прокаженных клетках играли толпы еврейских детей — грязных, больных, несчастных, бледных». На коммунистическом собрании он услышал о страшнейших издевательствах над трудящимися, о чудовищных пытках, зверствах, убийствах. Он был еще во власти иллюзий, внушенных ему его отцом, ему было тяжело расставаться с ними, и он цепко держался за них.

Рассерженный и смущенный, покинул он собрание. Но вот из большого окна кафе он увидел: «посреди улицы на длинном каменном возвышении взад и вперед шагал мрачный полицейский в красивом и новом мундире». Возле него надрывался старик, стараясь вытащить свою ручную тележку с тяжелой кладью, колеса которой врезались в выбоины мостовой. «Эй, проваливай!» — кричал полицейский, и Барыка думал: «Какой скорбный взгляд устремляет этот живой труп на полицейского». Он видел, как детишки воробьиной стайкой налетали на угольную пыль, оставшуюся на тротуаре от разгрузки громадных каменных глыб, как они красными от холода руками подбирали грязные комья в свои котомки и мешочки, чтобы протопить свои холодные и мрачные каморки. И фигура полицейского выросла в его глазах как символ — символ строя, угнетавшего польский народ.

Цезарь Барыка уже в этот момент подумал, не вернуться ли ему на собрание коммунистов, с которого он сбежал, признаться в свой ошибке и примкнуть к их борьбе. Ему вспомнились слова Платона: «Говорит

во мне какой-то равнодушный голос, который при каждом звуке своем отталкивает меня от того, что я в данный момент собираюсь делать». И он не вернулся на собрание, а пошел к своему старому другу и учителю Гаевцу, выразителю всех заблуждений и иллюзий националистической польской интеллигенции. Но то, что он услышал на собрании коммунистов, уже глубоко запало ему в душу. Он уже не мог соглашаться с беспочвенными и бесплодными мечтами Гаевца и бросал ему в ответ суровые слова обвинений:

«Мать моя умерла от тоски по Польше. И мой отец... А вы, мудрые правители, что вы сделали из этой тоски? Застенок... Полицейский, вооруженный всеми орудиями пытки,— вот на чем держится Польша... Нет у вас сил, чтобы сломить дворянство, уже не раз толкавшее Польшу на путь гибели, чтобы искоренить насилие шляхты и превратить этот край в страну трудящихся... Ибо вся ваша мудрость — полицейский и солдат... Нужны реформы, благодаря которым окраинные народы повернулись бы лицом к Польше, а не к России. Но вы — люди маленькие, вы трусы... Народ голодает в деревнях. Народ изнемогает на фабриках. Народ влачит бездомное существование в предместьях. Как вы собираетесь улучшить положение евреев, изнывающих в своем гетто? Ничего вы не знаете, у вас нет никаких идей и никаких планов... Ваши идеи — старые лозунги немощных людей, которые не раз уже приводили Польшу к гибели...»

И еще:

«Разве у вас есть смелость Ленина, чтобы начать великое дело, разрушить старое и создать новое?»

Жеромский после выхода в свет романа «Ранняя весна», когда на него обрушилась реакционная критика, «разъяснил», что он не хотел своим произведением агитировать за коммунизм. Но в романе он остался верен неумолимой логике и повел своего героя во главе рабочей демонстрации на Бельведер, резиденцию правителей Польши, вместе с коммунистом Люлеком, который уже тогда говорил: «Только бы дождаться конца этой «независимости», а тогда еще можно будет пожить на свете».

Герой романа Фердинанда Гетеля «Изо дня в день» так же, как Цезарь Барыка у Жеромского, возвратился из России в «освобожденную» Польшу с розовыми надеждами на новую жизнь. Но и Гетель должен был констатировать, что государство с первых же дней своего возникновения пошло по пути развала и гибели: «Земледельцы взбешены, крестьяне отчаялись и готовы на все, чиновники разочарованы в высшей степени, интеллигенция доведена до крайности, торговцы и промышленники близки к отчаянию, пролетариат крайне взбудоражен»... И Фердинанд Гетель еще более сурово, чем Жеромский, напутствует своего героя: «Я вижу, как ты блуждаешь среди миллионов чужих тебе людей, далекий пришелец, возвратившийся сын блудных отцов. Сокровища твоих добродетелей, сохраненные под панцырем че-

сти, не скоро оценит отчизна... Изнемогая от нужды и гордости, будешь давиться горькой пищей унижения и, блуждая одиноко, сотни раз очутишься в ловушке, из которой через калитку ничтожества проскальзывает на арену жизни вчерашний гад — будущий гражданин и любимец судьбы».

Этот самый «вчерашний гад», гордо именуя себя гражданином Речи Посполитой, не только ринулся в атаку на завоевание теплых местечек, но и завоевал их, стал первой фигурой в государстве. И его, этот основной тип «политического деятеля» панской Польши, также запечатлела польская литература.

Софья Налковская, старая польская писательница, в своем творчестве интересовалась преимущественно утонченными переживаниями аристократической души. Но когда в аристократические салоны проник этот новый «политический деятель», пройдоха и мародер, она написала повесть «Роман Терезы Геннерт» и вывела в ней этих «аристократов новой формации». Герой романа Юзеф Геннерт еще недавно был приказчиком, прельстившимся небольшим приданым, полученным его женой в качестве отступного от своего любовника. Во время войны «у него не было никакой должности, не было своей конторы, он не делал ничего определенного, он делал деньги... А теперь товарищ министра или государственный секретарь перед ним ничто... Все знают, что всем заправляет в министерстве Геннерт. Все зависит от него». Софья Налковская нарисовала правдивый образ нового героя поль-

ской государственности, ловко торговавшего акциями, женой и любовницами, показала весь этот мир казнокрадов и спекулянтов в хорошо сшитых министерских фраках и блестящих офицерских мундирах.

Доленго Мостович в романе «Карьера Никодима Дызмы» не менее правдиво, хотя и в сатирических тонах, нарисовал образ польского «политического деятеля», в котором черты пана Заглобы из трилогии Генриха Сенкевича соединились с алчностью и жестокостью буржуазного выскочки.

Никодим Дызма мечтал лишь о том, чтобы получить в каком-нибудь кафе место танцора — исполнителя танго. Эта мечта его потерпела крах, но ему выпало другое счастье: он случайно нашел пригласительный билет на раут у председателя совета министров и, воспользовавшись фраком, в котором собирался танцовать в кафе, отправился на бал. И он имел успех в кругах польской политической знати, ей импонировали его грубость и неотесанность, его развязность и наглость. Никодим Дызма очень скоро прослыл «сильным человеком», и, когда кабинет подал в отставку, президент отправил к Дызме гонца с предложением сформировать новое правительство.

В этих произведениях немало националистических бредней, а порою и выпадов против революции, против свободы, против СССР, но они не могут заслонить основное — правду о панской Польше, о гнилом фундаменте ее государственной машины, о

тлетворном гниении всего аппарата власти, начавшемся с первых же дней его возникновения, о ее незадачливых правителях, пышными плащами «патрициев» прикрывавших омерзительную наготу бездарных, корыстных и жадных дельцов.

2. В ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Польская художественная литература показала и омерзительное лицо правителей Польши, и омерзительные дела этих господ, обрекших на нищету и голод, повергших в тьму и невежество польский народ. Особенно ярко нашло свое отражение в польской литературе порабощение крестьянства, составлявшего три четверти населения Польши.

Среди польских писателей, в художественной форме запечатлевших мрачные страницы многострадальной жизни польского крестьянства, на первое место должна быть поставлена талантливая, мужественная и правдивая писательница Ванда Василевская. Ее романы «Родина» и «Земля в ярме»—это печальная летопись темной и нищей, убогой и голодной польской деревни, это грозное и неотвратимое обвинение всему польскому буржуазно-помещичьему строю.

Свой роман «Родина» Ванда Василевская посвятила жизни польского батрачества. Начиная свое повествование с 1905 года, она рисует мрачные бараки, в которых батраки ютились целыми семьями, голодные, оборванные, питаясь картофельной шелухой —

для поросят ее хорошенько обмывали, поросята привередливы, а для людей и немытая сойдет. Непосильный труд изнурял людей, и никакой радости не было в их тяжелой жизни!

Старый Кржисяк, стоя по пояс в воде, вылавливал жирных золотистых карпов для хозяина. И ему подумалось — вот если бы принести одного такого жене, Магде. Незаметно для надсмотрщиков он опустил одного карпа в портки. Но потом карп его выдал — забился в портках, и крестьянина били, нещадно били, как «вора». Но Кржисяк не роптал: «Известно от деда и прадеда, что мужика бьют по морде. Такой обычай. Может и господь бог, когда создавал мир, заранее определил, что такая будет мужичья доля».

Революция 1905 года пробудила новые надежды у батраков. Из города в мрачные бараки стали приходить рабочие с кирпичного завода. Они поднимали батраков на борьбу. Старый Кржисяк, который в жизни не знал ни одного светлого мига, теперь познал радость жизни, когда шел против стражников, когда помогал людям из города уничтожать ненавистную власть. Пусть он жестоко расплатился за это, но побои, более безжалостные, чем от управляющего, и тюрьма не затемнили радости, которую принесла ему борьба.

Но затем все снова пошло, как прежде — тот же мрак и та же беспросветность. Потом наступила новая война, а после нее пришло это «освобождение» Польши. Теперь,— думал Кржисяк,— со старым покончено, теперь на-

ступит новая, «своя» жизнь. И Ванда Василевская показывает со всей яркостью и убедительностью, как разбились эти иллюзии, как «новая» жизнь принесла с собой все старые страдания, подчас удесятеренные.

«Тридцать лет назад погонял лошадей Сташек. Его потом убили в легионах. Но кроме этого что переменилось? Стоял на своем месте барский дом. И бараки. И костел. Попрежнему. Спустя тридцать лет. Правда, было еще одно — родина. Кржисяк присел на плуг и вгляделся в нее, в эту родину. Она протягивалась узкой полоской промозглого картофельного поля. Дышала сыростью пруда. Вырастала длинным хребтом бараков... Родина была нескончаемым барачным днем. Окриками управляющего. Плесенью, растекавшейся по стенам барака. Кривыми ногами и прыщавыми шеями барачных детей. Картофельной шелухой, из которой варили людям похлебку. Нарами, на которых шуршала гнилая солома. Ничто не изменилось...»

Таков скорбный итог, который должно было подвести для себя многомиллионное польское крестьянство, оглянувшись на прожитую жизнь,— скорбный итог всей Польши за двадцать лет польской «самостоятельности», за двадцать лет жесточайшей эксплоатации и беспощадного угнетения «отечественными» поработителями.

В романе «Родина» жене Кржисяка, когда она глядела из окна батрацкого барака на жизнь расположенной рядом деревни, казалось, будто «в деревне жилось веселее», будто «люди в деревне по-иному одевались»,

и в ней пробуждалась зависть, что «у самого бедного-разбедного была какая ни на есть своя халупа, хотя бы сквозь дыры в крыше осенью капал дождь ему на голову, все же была своя халупа». И словно для того, чтобы рассеять это ложное представление,— будто деревенская жизнь в какой-то мере может быть названа человеческой жизнью,— Ванда Василевская написала роман «Земля в ярме», страшную повесть о деревне, о польском крестьянине, о тех, кто «имеет свою халупу».

В ярких образах крестьянской жизни писательница разоблачила «аграрную реформу» польских панов. Как живой встает перед читателем крестьянин Матус — жертва этого обмана. Когда стали давать крестьянам землю в рассрочку на сорок лет, он взял двадцать пять моргов. Он надеялся, что земля будет давать урожай и что ему удастся выплатить ее стоимость. Но земля оказалась ничего не родящим песком, а проценты поглощали больше, чем он мог внести за землю. И единственным реальным результатом оказалось то, что он жил не в халупе, а в землянке, как крот. Да еще: раньше он ловил рыбу в озере, а теперь уже не мог, так как в надежде на лучшие времена продал сети и купить другие не имел средств. Нищета и голод — вот что дала крестьянам «аграрная реформа» польских панов.

Жена Матуса выкармливала поросят. Но и здесь не повезло им: в деревне свиньи начали дохнуть. Пришлось зарезать полуиздохшую свинью. Мясо, однако, продать не

удалось. Жутью веет от страниц, в которых Василевская описывает, как ели в эти дни у Матусов. В первый раз в жизни ели досыта, ели до тошноты, до рвоты, до болей в желудке, но ели, потому что это в первый раз в жизни далось такое счастье и наверное никогда не повторится.

Сытость — это исключение. Закон, который царил в деревне,— это голод. Когда издыхала свинья, жена Матуса достала для нее молока, обещав отработать за него. Но свинья не пила. «Владек (сын) предусмотрительно огляделся. Матери не было видно. Мальчик протянул руку, зорко следя за мутными глазами свиньи. Она не протестовала. Он схватил черепушку, поднес к губам и стал пить. Молоко громко булькало в пустом желудке. Владек глотал его, захлебываясь, давясь, хватал воздух и опять погружал губы в белую влагу. Выпил наконец все и поставил черепушку на прежнее место под свиное рыло». Когда мать обнаружила, что он выпил молоко, она хотела избить его, но ребенка спасло заступничество отца: «Не трожь его. Выпил — ладно. Жалко тебе, что ли?» Даже если не жалко, нельзя позволить ребенку быть сытым, ибо закон деревни — голод.

Из отдельных ярких штрихов повествования вырастает страшная, родящая гнев и возмущение, картина голодного деревенского существования. Ощущаешь эту нужду, эту нищету, веревкой сжимавшую горло. И видишь перед собой этих людей, которые ради куска хлеба готовы были на все, даже жертвовать своею жизнью. Бедняки вы-

лавливали в холодной воде ракушки, чтобы кормить свиней. Ночью отправлялись в лес на запрещенную охоту, зная, что там их подкарауливает зоркий и безжалостный лесничий. Подкрадывались к графскому пруду, чтобы поймать жирных мальков. Маленькому Захарчуку тоже захотелось испытать счастье — половить мальков. «А если прицелятся из ружья — и бах! — говорил ему отец.— Не знаешь разве, что сделали с Бугайским?» — «Знаю»,— печально отвечал сын, но читателю очевидно, что опасность не могла остановить мальчика.

Видишь перед собой и этого маленького Захарчука, и всех других детей, разделявших с ним непосильную тяжесть подъяремного прозябания: и Стефана со слипшимися от гнид волосами, и Юзека, в чьей серой и дряблой коже ползающие по рукам и плечам вши проточили извилистые каналики, и Стасека и Антека с кровоточащими, изъеденными цынгой деснами, и Леоську, у которой постоянно течет из ушей, и Владека с золотушной язвой — все они встают перед глазами со страниц книги,— «весь этот жуткий паноптикум деревни, с незапамятных времен хиреющей от голода».

Ванда Василевская показала, до какой бесчеловечной жестокости доходили магнаты-помещики и их наемники в издевательствах, глумлениях и насилии над крестьянами. Радзюк, нищий, голодный, не могущий найти себе пропитания, отважился поставить капканы в лесу, принадлежавшем его помещику, графу Остржельскому. Сам граф Остржельский, ведущий свою родо-

2*

словную от самых знаменитых людей польской «истории», выслеживает несчастного Радзюка и «благородно» предоставляет ему выбор: либо в суд, либо наказание на месте. Радзюк видит перед собою свою жалкую хату, в которой ютятся больная жена и пятеро детей. Он знает, что панский суд будет не на его стороне. И он выбирает наказание на месте: четыре гибких ореховых лозы обломал на нем управляющий Станик, двести ударов получил лежа на холодном снегу несчастный Радзюк.

Молодой парень Стефан Зелинский дерзнул выкупаться в графском пруду, и за это его выгнали из воды, затравили собаками, насмерть забили камнями и труп бросили в пруд.

Страшно подумать, что такие чудовищные факты могли иметь место в двадцатом веке, в центре Европы.

У читателя может возникнуть вопрос: не являются ли все эти факты плодом творческой фантазии автора? Нет, в том-то и дело, что польская литература не запечатлела и сотой доли тех невыносимых испытаний и нечеловеческих страданий, которые пережили трудящиеся Польши под игом польских панов. Любая фантазия писателя бледнеет перед действительностью двадцатилетней подъяремной жизни польских трудящихся масс.

Но здесь хочется отметить, что самый вопиющий факт, описываемый Вандой Василевской в ее романе «Земля в ярме» — жестокое убийство Стефана Зелинского — имел место в жизни. До написания этого ро-

мана, в 1937 году, Ванда Василевская поместила в варшавской газете «Роботник» очерк о своей поездке на место этого вопиющего происшествия.

«Мне сообщили,— писала она в этом очерке,— что в деревне Савицах, волости Выгоженбы, уезда Сокулов-Подлянский, лесничие убили крестьянина. Подробности этого убийства были настолько невероятны, что я сочла всю историю по меньшей мере крайне преувеличенной. И я решила на месте проверить факты.

До деревни, где — по рассказам — произошло преступление, было километров двадцать. Я проделала их на крестьянской телеге. С кем бы я ни заговаривала по дороге, о чем бы ни расспрашивала, беседа неизменно возвращалась к одной теме — теме убийства. Повсюду в деревнях крестьяне, женщины, дети только о нем и говорили. Спокойно и деловито передавали из уст в уста подробности убийства.

Стефан Савицкий, молодой крестьянин 25 лет, осмелился выкупаться в пруду барского имения «Бартків» помещиков Корчевских.

В то время, когда Савицкий находился в воде, к пруду подошли два лесничих с охотничьими собаками, выдрессированными, примерно, так же, как некогда дрессировали собак для поимки беглых рабов-негров в Америке. Лесничие приказали купающемуся немедленно вылезть из воды. Один из них ударил при этом Савицкого палкой по голове. Савицкий будто бы ответил: «Неужели

тебе, дураку, воды жаль? Лезь в нее и вылакай до дна!»

Так будто бы ответил Савицкий. Впрочем, иные утверждают, что он ответил не то или вовсе ничего не сказал. Проверить это сейчас, разумеется, уже нельзя. Известно лишь твердо, что лесничие принялись избивать Савицкого. Молодой крестьянин бросился бежать. Лесничие натравили на него своих собак. Савицкий, спасаясь от собак, взобрался на акацию. Собаки прыгали вокруг дерева, хватали Савицкого за пятки, а лесничие помещика — их фамилии Вавер и Сова — тем временем бросали в Савицкого камни. Всего было насчитано вокруг дерева двадцать четыре камня.

В это время к обоим лесничим подошел их приятель, третий лесничий Грегорчук, тоже с собакой. Грегорчук принял активное участие в избиении «преступника».

Савицкий кричал, умолял не убивать его. Но вскоре силы покинули его, и он свалился с дерева. На этом кончается рассказ крестьянина Юзефа Стоковского, который, спрятавшись поблизости в кустах, все это видел и слышал. Ему показалось, что Савицкому удалось скрыться в кустарнике и бежать.

Дело происходило во вторник, 29 июня. В субботу к пруду случайно забрел крестьянин из Лишек. Он увидел прибитое к берегу уже успевшее распухнуть тело Савицкого. Крестьянин поднял тревогу. Было сообщено в полицию в Репках. Назавтра, в воскресенье, огромная толпа, свыше тысячи человек, собралась у здания лесничества и

окружила дом, в котором спрятались помещичьи лесничие. Полиции стоило больших трудов спасти убийц от гнева крестьян. Лесничих посадили в автомобиль и увезли в город.

В жалкой убогой деревне Савицах, куда я прибыла, мне тотчас же показали дом, в котором жил убитый. Изможденная старуха, мать Савицкого, окруженная целым выводком детей, встретила меня на пороге:

— Он был такой спокойный мальчик. Он никогда не спорил с лесничими. Он был такой добрый, порядочный, не пил, не курил, не дрался. Он только ходил купаться в пруд. Он недавно вернулся из армии. Там ему сказали, что у него больные нервы и ему нужно принимать холодные ванны. Вот он и пошел искупаться в пруду.

— Он самый старший у вас?

— Самый старший, дорогая. Осталось у меня шестеро ребят, мал-мала меньше. Их отец — старый, хворый, не работник.

— А кто же ваш кормилец сейчас?

— Сейчас? Вот этот.

Савицкая указала на мальчика лет тринадцати. На меня взглянули два больших не по-детски печальных глаза. Из избы вышел отец — старый, сгорбившийся человек в темных очках. Да, все бремя хозяйства сейчас ложится на худые плечи тринадцатилетнего мальчика. Совершенно очевидно, что этой семье уже не под силу обработать даже свой жалкий надел, который и в лучшем случае не может покрыть самых жизненно необходимых потребностей семьи, и хозяйство очень скоро рухнет вконец».

И подобные факты не единичны. В том же очерке Ванда Василевская рассказывает:

«Недавно в деревне Чапле Корчевского уезда лесничий застрелил крестьянина. Преступник не был даже привлечен к ответственности.

Лесничий Омельянчук застрелил Казимира Буяльского из деревни Менженин. В «наказание» его перевели временно на работу в Дражнев. Впрочем, вскоре он вернулся на старое место.

Там же лесничие затравили собаками беременную женщину. Произошел выкидыш, и женщина вскоре скончалась.

Лесничие напали в помещичьем лесу на женщин, собиравших ягоды. Избили их зверски, раскололи кувшины, изорвали квитанции об уплате налога за право собирать ягоды.

И еще... еще... еще... Повесть о трупах, мужицких трупах, на которых всходят доходы корчевских помещиков...

Все эти лесники — платные слуги. Они оставались на своих должностях, несмотря на то, что их руки обагрены человеческой кровью. Зверское убийство в Барткове — это только одно звено в цепи существующей системы».

Ванда Василевская видела полную несостоятельность польского буржуазно-помещичьего строя и открыто заявляла об этом.

«Не могут,— писала она,— существовать нормальные отношения там, где хозяйства в два-три гектара земли расположены рядом с пятьюдесятью усадьбами, принадлежащими одному человеку.

Не может быть нормальной жизни там, где в покосившиеся окошки низких, полуразвалившихся хижин смотрят винокуренные, лесопильные и другие заводы, принадлежащие одному человеку, где нищий крестьянин, собирающий хворост для топлива, слышит непрерывный шум обширных лесных пространств, принадлежащих одному человеку».

В этом очерке, ярком и убедительном, волнует и потрясает каждая строка, написанная кровью исстрадавшихся польских крестьян. Но он в то же время подчеркивает, насколько правдивы те, порою кажущиеся невероятными, факты, которые описывает в своих романах польская писательница.

Ванда Василевская, в отличие от многих других польских писателей, слышала не только стоны, несшиеся над польской деревней, не только полную отчаяния, заунывную народую песню:

Не мое солнце, не мое поле,
Одно лишь мое — моя злая недоля.

Она слышала и глухой ропот недовольства, и становившиеся все более громкими возгласы возмущения, и голоса, звавшие к борьбе.

Она видела не только отчаяние Кржисяка, когда он должен был подвести итог, что за тридцать лет «ничто не изменилось». Она видела и другое: «Но он (Кржисяк) уже знал, что переменилось, когда глянул в пылающие гневом, полные ненависти глаза подрастающего сына». Павел испытал на себе всю тяжесть помещичьего гнета в «свобод-

ной» Польше. Но он уже не снимал покорно своей шапки при виде помещицы, как делал это его отец. И гнев и ненависть во взгляде, который он бросал на нее, говорили о том, что этот святой гнев, эта великая ненависть дадут плоды.

Ванде Василевской было ясно, что крестьянин крепко запоминал обиды, которые наносили ему, и обретал все большую силу, чтобы расквитаться за эти обиды, чтобы дать отпор своим угнетателям, чтобы покончить с голодом и темнотой и завоевать новую жизнь.

Старый Матус среди бела дня пробрался в графский лес и поджег его. Он не знал, что это даст, но он помнил обиду и хотел отплатить за нее. Граф только что посадил шестьсот деревцов, чья-то рука подобралась к ним и срубила все до одного. У старика Тыняка по ночам собирались крестьяне и читали запрещенные книги. По деревне бродил шпион Марковяк, но он ничего не мог выведать: каждый крестьянин знал, что обида у всех общая, и они стояли один за другого. Ванда Василевская не могла в условиях цензурных и жандармских преследований дать полную картину той борьбы против помещиков, которая шла в польской деревне и которая приводила к массовым крестьянским забастовкам. Но из того, что она показала, становится вполне ясно, что крестьяне все крепче держались друг за друга и образовали фронт, который не мог не привести в трепет угнетателей.

Не всегда, конечно, выступления крестьян завершались удачей, враг был слишком си-

лен, против крестьянина выступали и помещик, и власть, и церковь. Но крестьяне все меньше боялись их силы. Когда совершилось гнусное убийство Стефана Зелинского, они направились к графскому дому, и только благодаря хитрости убийцам удалось уйти от народного гнева. Соседняя деревня Бржеги сгорела от пожара, делегация пошла к графу,— это в тот самый день, когда у него срубили прививки. Граф отдал распоряжение управляющему: «Отпусти им два воза того картофеля, что отобрали вчера для свиней, и шестьсот деревцов». Крестьяне знали о тайной мечте графа прибрать землю Бржегов в свои руки, и они отдали последнее погорельцам и помогли им отстроиться.

Волнующе нарисовала Ванда Василевская страшную осень, когда земля ничего не родила, когда пропала не только надежда на землю, но и на воду — граф присвоил себе озеро, которое кормило людей, и запретил ловить рыбу. Тогда: «Здесь только одно поможет,— хмуро, зловещим голосом сказал Захарчук. Наступила тишина.— Сказывай, что? — Либо мы, либо он...— Правильно говорит! — закричала Baниха, и вслед за нею бабы подняли дикий галдеж: — Что нам еще ждать? Зачем отлынивать? Айда в Острженъ! — В Остржень!» И когда немного спустя старшина заглянул в деревню, «зияли широко раскрытые двери халуп, из мужчин не осталось почти никого — разве только старики и больные, нехватало и многих женщин». И скоро «над синей линией леса, там, где был Остржень, поднимался ввысь,

в голубое, прозрачное, лазурное небо узкий столб дыма». Бабы молились так же, как в ту ночь, когда горели Бржеги. «Но теперь в молитве не было страха. Грозно звучали слова, неся в себе необычайную силу и смысл. Бледны, суровы были лица. Мрачна, почти зловеща была молитва. Происходило что-то неотвратимое, и не мольбой о пощаде звенел пригорок».

Ванда Василевская нарисовала эту стихийную вспышку народного гнева не как крестьянскую победу. Вдали еще клубился дым пожарища, а на возу Скуржака, ехавшего из Остржени, лежали трупы тех, кто отдал свою жизнь за крестьянское дело, и по дороге в деревню уже мчались грузовики тех, кто стоял на защите позорного закона крестьянского угнетения. Однако роман говорит о неминуемом для панов часе расплаты за крестьянские обиды. «В деревне ударили в набат, и разнесся колокольный звон, громкий, тревожный, зловещий... Казалось, его звон разносился далеко за Калины, в Бржеги, в Мацьков, во все Остржeньские деревни — и дальше, во владения господ из Подолениц, из Грабовки, из Вилькова, во все прибужские земли,— зеленые, золотые, лазурные земли нищеты и голода».

Василевская показала в своем романе, как ширился крестьянский фронт борьбы против панов. Она нарисовала замечательный образ Анны, женщины с прекрасной душой, исковерканной темными законами деревенских предрассудков, сумевшей пойти рука об руку с мужчинами на панов и отдавшей жизнь в этой борьбе. Она показала, как к борющим-

ся крестьянам примыкала лучшая часть деревенской интеллигенции. Учитель Винцент в начале повести томился серостью своей деревенской жизни, он отчаивался в возможности преобразить ее, он чувствовал себя бессильным внести луч света в это темное царство, где безраздельно царили голод и нищета. Он завидовал своей подруге, учительнице Сташке, которая не только учила, но и лечила, и организовала кооператив. Но в конце романа, когда он увидел, как люди сомкнулись стеной против приближавшихся грузовиков карательного отряда, «он встал среди них, в тесные их ряды, плечом к плечу, лицом в ту сторону, откуда все ближе неслись по дороге клубы пыли».

Книги Ванды Василевской — это эпопея страданий польского народа под ярмом своих «отечественных» угнетателей, потрясающий синодик преступлений последнего поколения польской шляхты по отношению к забитому крестьянину, для которого родина стала злою мачехой.

Среди художественных произведений, посвященных положению крестьянства в Польше, выделяется роман Яна Виктора «Пашня под паром». Ян Виктор хорошо знает жизнь деревни, знает крестьянские горести и крестьянские сетования, и он сумел просто и правдиво рассказать о них. Именно благодаря этому ему удалось даже в небольшом очерке «Польская деревня сегодня» показать всю неприглядность и невыносимую тяжесть деревенского существования.

Ян Виктор вспоминает слова одного польского сановника: «В Польше до тех пор не будет хорошо, пока крестьянин не станет ходить без обуви», и он замечает: «Вот он уже ходит без обуви, а разве стало хорошо?». И писатель показывает, что об обуви крестьянин уже и не думает: соль — редкость в крестьянском доме, а сахар — недоступная мечта. Он передает крестьянские жалобы: «В город вывозят на возу, а из города в руке или подмышкой... Когда-то у людей была охота жить, люди радовались, а теперь, как на похоронах. Дети исхудалые, измученные... Когда-то на призыв шли парень в парня. А теперь — мелюзга».

Но больше всего жаловались крестьяне на непосильные поборы. Кто только не обирал крестьянина?! Конечно, в первую очередь помещик. За ним вслед шел ксендз — недаром крестьяне прозвали костел «фабрикой ксендза». Но, может быть, самым страшным бичом был чиновник, изощрявшийся во взыскании бесконечных налогов. «Приходит такой паночек с портфелем в руках,— рассказывал Яну Виктору один крестьянин,— бегает по деревне, все описывает. Ульи описал. Объясняем ему, что летом трогать ульи нельзя, так как пчелы погибнут и никому пользы не будет. Да разве вдолбишь такому! А потом я уже со злостью: Может, паночек, еще голубей заарестуешь?»

«Позже,— рассказывает автор,— крестьянин повел меня к больной старушке, у которой несколько дней тому назад «паночек с портфелем» вырвал подушку из-под голо-

вы, так как у нее не было нескольких злотых, чтобы заплатить за страхование».

«Это все, что у меня было,— плакалась старушка,— внуку хотела оставить. Как только я ни просила его, как ни умоляла — один бог знает, а он все одно и то же: «Я должен получить причитающееся, надо платить, а откуда вы возьмете — меня не касается». Чтобы он радости в жизни не видел, чтобы его руки добра никакого не знали. Проклятые они! Откуда я возьму деньги, чтобы выкупить подушку? Если бы я ходить могла, пошла бы милостыню просить и выпросила бы по грошу. Это было все, что у меня осталось на старость. А теперь внучек под голову солому подложил. Добрый ребенок! Другой бы камень подложил».

«Глядя на старушку, лежавшую в своей берлоге,— продолжает автор,— я думал о том, что гроши, вырученные за эту подушку, упадут на кого-то тяжелым камнем, а может быть, на какой-нибудь банкетный стол, может быть, где-нибудь в ином месте — мало ли таких мест».

Крестьяне знали, на что шли деньги, и они отнюдь не безразлично относились к этому. «Тот же крестьянин,— пишет в своем очерке Ян Виктор,— проводил меня до околицы и на прощанье сказал: — Молодежь ругается на чем свет стоит. Кругом неграмотность, темнота... И что тут удивительного? Разве до войны строили столько дворцов для властей? Там дворцы, а здесь людям жить негде... К чему нам, друг мой, бархат и шелк, если внизу сорочки нет?»

И может быть, наиболее выразителен описанный в очерке эпизод в деревенской лавчонке. Лавочник жаловался: в лавке всего одно кило сахару, и оно лежит месяцами — иногда лишь баба купит несколько граммов, если у ребенка сильный кашель. «Ха, ха! — смеялся один крестьянин.— Польшу мы вывоевали, а вот кусок сахара для ребенка вывоевать не сумели». И Ян Виктор от себя добавляет: «Он смеялся долго, искренно, и смех его угнетал меня, этот смех звучал как проклятье, как обвинение...»

Проклятием и обвинением польской шляхте звучит каждое правдивое слово о муках и страданиях крестьянства. Суровым обвинением прозвучал и роман Яна Виктора «Вербы над Сеной», в котором он обрисовал обнищание трудящихся масс Польши после войны, безработицу, заставившую их эмигрировать во Францию в поисках куска хлеба, и их тяжелую жизнь во Франции.

Герой романа — Андрей Поланец долго сетовал: «Пять лет защищал родину, кровь проливал, несколько раз был ранен, грудь свою за всех подставлял, а теперь мне с голоду, что ли, подыхать?» Но Андрей Поланец слышал в ответ от разбогатевшего на войне фабриканта: «А мне-то какое дело до того, что ты был на войне? Не надо было итти». Андрей Поланец сделал для себя четкий вывод: «Если еще раз будет война, я уже буду знать, против кого мне направить винтовку».

Однако Андрей Поланец не был в состоянии преодолеть царившее кругом равнодушие к его судьбе. не был в состоянии добыть

кусок хлеба на своей родине, за которую подставлял грудь под снаряды и пули. И, когда в Польше началась вербовка рабочих во Францию, он покинул свое неблагодарное отечество.

Ян Виктор показал ужасные условия, в которых жили польские рабочие во Франции. Они очищали вчерашние поля битв от трупов, снарядов и бомб. Трупы невыносимо воняли, а снаряды, которые приходилось брать голыми руками, порой разрывались и убивали людей. Они работали на шахтах, где условия труда для них были еще более плохие и тяжелые, чем для французских рабочих.

Ян Виктор не дал изображения революционной борьбы и не звал к революционной борьбе. Но пером художника он так выразительно изобразил человеческие страдания, что книга его стала гневным протестом против капиталистического строя, порождающего эти страдания.

В романе «Пашня под паром» Ян Виктор стремился показать, как темнота и косность, насаждавшиеся шляхтой в польской деревне, калечили людей, убивая в них все человеческие чувства. И многие страницы этого романа волнуют еще глубже, чем предыдущие произведения Яна Виктора.

В польской литературе последних лет было типичным явлением, когда автор изменял своей собственной теме под давлением неумолимой правды жизни. Такой факт мы имеем в романе Ялу Курека «Грипп свиреп-

ствует в Направе». Писатель думал, что главная тема его произведения — это любовные переживания панны Зени и ее подруги Лили, что читателя будет волновать неизбывная тоска Андрея по какой-то Ирочке или жизненные неудачи Зигмунда. Однако главной темой его романа стала темная деревенская жизнь.

Огненными словами выжжены в повести факты, которых нельзя забыть:

«Уже с апреля деревня голодает. Кое-где еще работают у крестьян жернова, размалывая рожь в муку для пасхальных лепешек, но у бедняков, малоземельных и безземельных, то есть почти у всего населения Направы, совсем есть нечего...

Четвертая часть населения никогда не ездила по железной дороге; половина населения никогда в жизни не пила ни кофе, ни чая, а три четверти населения не были за пределами своей деревни дальше чем за десять километров. Никто из них не знает вкуса сахара, только немногие позволяют себе один раз в год такую роскошь, как щепотка сахарина...

Нищие, они упорно борются с землей. Лошадь давно бы издохла от такой жизни, а человек вот выдерживает. Борются они со своими «осьмушками» и «четвертушками», пашут по локтю плохой каменистой земли, удобряют ее навозом — авось удастся хоть что-нибудь вымолить, вырвать, высосать из нее. Сами они живут как собаки, питаясь «болтушкой» и кислым хлебом...

Никто не зажигает огня. Окна мертвы. Нет керосина. Нет денег на керосин. У Гвиж-

джа вот уже вторую неделю стоит горшок с соленой водой, в которой много раз варили картошку. Вылить эту драгоценную жидкость нельзя, в ней еще не один раз будет вариться картофель...

Янек решил больше не посылать свою десятилетнюю дочку в школу. Для такой роскоши теперь нет времени. Девочка должна пасти скот, сказал он...

Половина детей вовсе не является в школу. Старшие дети заняты в поле, а младшим не во что одеться, и нет у них ни книг, ни бумаги, ни карандашей...

— Нас били и будуть бить,— говорит Войгек.— Раньше били господа, и теперь господа бьют. Ясные паны находятся наверху. Эта худая кровь питается крестьянством и обирает его как липку...

Направа все больше погружалась в темноту, нищету и грязь. К вечеру у всех были печальные лица. По утрам вставали с трудом и неохотно. Незачем вставать. Размокшая глина и каменистые пески не радуют взора. Крыши пропускают холодный северо-восточный ветер через сорванную дранку или истлевшую солому. Вороны понуро летают по грустным застывшим дворам. Удивительное дело: чужие люди тщательно обходят Направу, а податной инспектор всегда находит сюда дорогу. Что тут возьмешь? Но он выгоняет из хлева свинью и единственную кормилицу — корову...

Бронек покрывает голову мешком и шлепает босыми ногами по грязной дороге. Он знает, что за два гроша Базякова даст девять спичек, из которых каждая будет дома

расщеплена пополам, и их зажгут восемнадцать раз. Какой клад за два гроша! За два гроша можно целых восемнадцать раз развести огонь, зажечь трубку или даже устроить пожар».

Может быть, помимо воли автора, но именно эти строки стали основным содержанием его произведения, волнующим, обличительным, грозным.

Польская художественная литература, конечно, не исчерпала всего списка преступлений польской шляхты по отношению к крестьянству. Однако и того, что показано в повестях и романах, вполне достаточно, чтобы понять, как велико зло, содеянное угнетателями польского народа, как беспредельно тяжелы были испытания, страдания и муки, пережитые крестьянами под игом польских панов, как стонала земля под ярмом, как велик был гнев, как грозен был ропот угнетаемых.

3. ПАСЫНКИ СРЕДИ ПАСЫНКОВ

То, что показано в польской литературе об угнетении польского крестьянства, еще не является, однако, пределом преступлений тех, кто двадцать лет безнаказанно правил Польшей. Были там еще пасынки среди пасынков — это украинцы, белоруссы, евреи, томившиеся два десятилетия под панским игом. Эта волнующая тема, к сожалению, до сих пор оставалась в тени, и она не получила

еще того яркого воплощения, которого она заслуживает.

Имеется замечательная книга. Это не повесть и не роман. В ней собраны бесхитростные рассказы крестьян, и она так и называется: «Польские крестьяне о своей жизни». Она издана Институтом социальной экономики в Варшаве, который многое из написанного крестьянами скрыл, не опубликовал. Но и то, что вошло в эту книгу, весьма показательно и ярко, в особенности рассказы, рисующие положение крестьянства на «кресах» — в Западной Украине и Западной Белоруссии.

«Жизнь — это настоящая тюрьма,— писал сын крестьянина, работавший в хозяйстве отца в Виленском уезде (фамилии авторов в книге не приводятся),— настроение у меня всегда подавленное. Работаю без всякого удовлетворения. Не имею ни книжек, к которым меня тянет, ни развлечений».

И когда читаешь его рассказ, понимаешь, почему жизнь в польской деревне сравнивалась с тюрьмой. Все обирали, все обманывали, каждый пригибал человека к земле, подавлял в нем все человеческое.

Крестьянин зашел в лавку купить четверть пачки табаку, больше денег у него не было. Лавочник предложил крестьянину пойти к нему на квартиру, чтобы там разрезать табак. Узнав, что у лавочника дома сидят знакомые, крестьянин наотрез отказался.

«— Что же тут такого? — удивился лавочник.

— Они будут знать, что я купил табак,—

ответил крестьянин, и так и не зашел на квартиру».

Крестьянин не мог позволить себе угостить своего соседа табаком. Накопив несколько грошей на четверть пачки, он предпочитал отказаться и от нее, бывшей предметом его мечтаний в течение долгого времени, чтобы не раздарить накопленное с таким трудом «богатство»: лучше в другой раз, втихомолку, тайком.

Поистине жутью веет от этого маленького эпизода.

Нищета рождала не только скаредность, скупость, но и озлобленность: невинный разговор превращался в ссору, и злоба на ксендза, податного инспектора, барина переходила иногда на окружающих, на близких, на семью.

Особенно велика была злоба на ксендза, прикрывавшего свой грабеж «словом божьим».

«— У меня умерла бабушка,— рассказывает крестьянин.— В день похорон я привел ксендза с псаломщиком. После похорон спрашиваю, сколько следует.

— Десять рублей золотом.

Я удивился — ведь мы от бабушки не получили никакого наследства. Хватит и 20 злотых. Начинается торговля. Он соглашается на 40 злотых, я даю 25. Он уступает еще 5 злотых, я даю 30. Наконец, мы сторговались. Позднее, хороня крестьянина в другой деревне, ксендз и псаломщик уверяли, что получили у нас 150 злотых — чтобы содрать с тех побольше».

Крестьянин рассказывал о темноте, царив-

шей в белорусской деревне. Немногие попадали в школу, а те, которым удалось окончить начальную школу, так и «застывали на примитивнейших понятиях о мире». Угнетателям была наруку крестьянская темнота: она делала крестьян более покорными и давала возможность польским чиновникам как угодно обжуливать их.

В праздник,— рассказывает тот же крестьянин,— вся деревенская голытьба собиралась в квартире продавца папирос играть в карты. За самодельные карты из коробок от гильз он брал пятнадцать грошей, за ночь — лампа и керосин, которых в других избах не было — тридцать грошей, иногда пили денатурат, и наутро — отупение, отчаяние, серость. И снова тянулись дни тяжелые, мрачные: обманывал скупщик, обирал барин, выматывал последнее ксендз.

Свой рассказ о бесправии белоруссов и произволе польской шляхты и ее чиновников крестьянин закончил пожеланием, чтобы белорусская деревня под игом польских панов была запечатлена в художественной картине. И он поведал, как ему представляется это полотно:

«По-моему,— писал он,— картина должна быть написана в грязно-серых тонах. Лучше всего если бы на первом плане был помещен крестьянин среднего роста, в сапогах, без голенищ. Его унылая сгорбленная фигура должна быть одета в изношенный до последней степени костюм. Около него должна стоять его жена, моложе его по возрасту, босая, с исхудалым лицом и с синими кругами под глазами. За ними — много

детей разного возраста, грязных, с длинными волосами. Дальше — жалкое хозяйство, жилье, похожее скорее на развалины, чем на жилое помещение. Соломенные, растрепанные ветром, дырявые крыши, гнилые стены. Хата с маленькими окошками, заткнутыми тряпками, низкая и маленькая, с деревянной трубой, увенчанной ведром без дна. Повсюду грязь, болото. Затуманенная даль. Солнце не должно светить никогда».

Польские художники не нарисовали этой серой и мрачной картины. Польские писатели не запечатлели для потомства нищету и нужду, мрак и гнет, насаждавшиеся панским произволом на «кресах». Может быть потому, что писателям казался достаточно ярким и тот материал, который давала им деревня центральной Польши. Может быть потому, что польская цензура особенно неистовствовала, когда речь шла о «кресах». По той или другой причине, но из польской художественной литературы мы не можем узнать, что, например, крестьяне деревни Униж Городенского уезда в Западной Украине должны были за пастьбу одной коровы отрабатывать помещику тридцать пять дней. Или что на всей Западной Украине было всего лишь пять украинских средних школ, что на Волыни, Полесье и Холмщине всего 0,02 процента детей обучалось на родном языке и т. д., и т. д.

Не нашел в польской художественной литературе отражения и тот страшный террор, который царил в Западной Украине и в Западной Белоруссии. Об этом терроре мы можем знать хотя бы из рассказа

Егора Зимнича из Кожангрудка о том, как арестовали его со всей семьей, вместе с товарищами — Лужчиком, Антоновичем и другими, как вкладывали им патроны между пальцев и ломали руки, потом всовывали их пальцы между дверей и двери захлопывали. Или рассказ о том, как шестидесятилетнего Карпа Искру из Пружан швыряли словно мяч из угла в угол, от одного жандарма к другому, били несколько часов подряд, до потери сознания, потом обливали водой, бросали наземь и снова били кольями по пяткам и покрикивали: «Вылижь кровь языком!» Или о том, как крестьянина Щербинского заставили наполнить бутылку водой с керосином и выпить эту смесь, а когда живот у него вздулся, полицейский уселся на нем и подпрыгивал в такт своей команде: раз-два, раз-два.

В некоторых произведениях мы все же находим частично отраженной эту нечеловеческую жизнь на «кресах», и всюду она выступает сто крат более мрачной и тяжелой, чем в центральных воеводствах Польши. Из этих разрозненных мелких показаний вырастает чудовищная картина, вырастает суровое и непреложное обвинение панской Польше.

У Стефана Жеромского в его «Ранней весне» мы находим упоминание о кровавом терроре в Западной Украине и Западной Белоруссии. Когда Цезарь Барыка приходит на собрание коммунистов, он слышит там из уст одного оратора страшные рассказы, которым он еще не хочет верить, но которые глубоко потрясают его. Именно там он

узнал: «Заключенных пытают электрическим током, раздетого донага Никифора Бартничука пытал электрическим током полицейский Кайдан... Кузнецу Козловскому, с хутора Васильковщина Волковыской волости, связали руки и между рук и колен всунули железный кол; два полицейских держали этот кол, поднимали Козловского вверх и, размахнувшись, кидали его о стену; Козловский ударялся, как мяч, о стену и падал на землю, от которой снова отскакивал; эта процедура продолжалась пятнадцать минут, и через три дня он умер в страшных мучениях... В деревне Дедове Новоминской волости засекли насмерть розгами нескольких беременных женщин...» И все это не измышления писателя, а подлинные факты, о которых говорили левые депутаты с трибуны сейма.

Софья Налковская в своем «Романе Терезы Геннерт», в описании званого вечера в салоне мадам Геннерт, вкрапливает следующие строки:

«Когда перестали танцовать, Латерна подошел к поручику Лину и вступил с ним в продолжительный разговор. Вытирая пот с лица, поручик с живым вниманием слушал рассказ Латерны о впечатлениях, вынесенных им из поездки. Молодое, худощавое лицо его стало серьезным и озабоченным.

Латерна возвратился из пограничных губерний, где в настоящее время...

— Да, там можно убедиться воочию, до чего мы дошли, что мы купили такою ценою — ценою потоков крови.

Поручик и сам задумывался об этом. Бело-

руссы и украинцы — с ними поступают не лучше... И Польша, которая в продолжение стольких лет изнывала в цепях рабства (поручик был поэт), теперь стала... так вот из-за чего велась борьба!.. Вот что значит независимость!.. Здесь сидят в тюрьмах люди только из-за того, что являются последователями самых возвышенных, самых благородных идей.. И никто не протестует, все молчат...

Латерна, как будто стараясь успокоить его, в действительности лишь растравлял возмущение молодого человека.

— Это в порядке вещей... Такова Польша. Ничего другого нельзя было ожидать».

Характерно, что Доленга Мостович, рисуя восхождение своего героя, проходимца и мошенника Дызмы, отводит ему вотчину на окраинах — какое-то имение Коробово, в районе Гродно. Именно там во-всю могли развернуться его таланты эксплоататора, угнетателя и насильника. Там легче, чем в других местах, можно было разговаривать со своими служащими жандармским языком:

«— Миндальничать не люблю... За лодырничанье платить деньги я не намерен. Поняли? Дармоедов буду выставлять с побитой мордой. А если, храни бог, кого поймаю в каком-нибудь мошенничестве, если узнаю, что кто-нибудь из вас наруку не чист — ну! В тюрьму без всякого разговора! Со мной шутки плохи! Поняли?

Ударил кулаком по столу.

— По нынешним временам и брату родному верить нельзя. Поэтому я надумал так: если кто из вас заметит, что готовится ка-

кая-нибудь махинация, понимаете, и если донесет мне об этом, получит пять тысяч злотых в зубы да еще прибавку к окладу... Вот и все. Можете итти на работу».

А когда кто-то заикнулся, пытаясь возразить против гнусных предложений хозяина, тот продолжил свою декларацию:

«Если кому что не нравится — скатертью дорога! На свежий воздух! За фалды никого не держу! Только советую задуматься. Место найти сейчас не так-то легко. А свидетельство я уж выдам такое, что — ну! Да и связи у меня есть...»

Это не случайный монолог в повести. Он показывает всю систему отношений с трудящимися, господствовавшую в панской Польше и особенно широко применявшуюся на «кресах». Именно такой образ поведения и действий помогал проходимцам типа Дызмы выдвинуться, быть замеченными в польской столице.

На «кресах» могли безраздельно властвовать последние из гадов, наводнивших правительственные учреждения польской шляхты. Там шарлатан и аферист Дызма мог в отношении подвластных ему крестьян воскрешать вековые традиции польской аристократии: уводить невесту на глазах ее жениха.

Доленга Мостович описывает праздник урожая, устроенный Дызмой у себя в имении: «Когда гости перешли с террасы во дворец, Дызма остался в саду и не столько по обязанности хозяина, сколько ради удовольствия танцовал напропалую со жницами и больше всего с вожатой хоровода. Он не обращал внимания на угрюмую мину ее же-

ниха и, улучив момент, взял девушку под руку и повел в парк. Та не решалась сопротивляться пану помещику, а жених по этому случаю напился вдребезги».

Такой предстает, даже в описаниях буржуазных писателей, жизнь трудящихся масс в Западной Украине и в Западной Белоруссии, где процветали правители типа Дызмы. Именно там еще неистовее, чем во всей стране, властвовали безнаказанность и произвол, своеволие и жестокость. Будущие поколения будут с содроганием и гневом читать художественные страницы, рисующие одну из мрачнейших глав человеческой истории.

Приходится ли удивляться, что в книге «Польские крестьяне о своей жизни», в рассказе одного крестьянина, мы читаем следующие строки, звучащие приговором буржуазно-помещичьему строю Польши: «Крестьяне перестали верить во все обещания и смотрят на польское правительство такими же глазами, какими прежде смотрели на царское правительство... Крестьяне не являются гражданами своего отечества».

4. ПОЛЕСЬЕ

В панской Польше Западную Украину и Западную Белоруссию открыто и цинично называли «Малой Польшей». Они рассматривались как колонии, из которых польские капиталисты черпали для себя прибы-

ли, не давая ничего забитому и голодному населению. Вице-премьер Квятковский даже официально делил страну на две части — на Польшу «А» и Польшу «В». В Польшу «В» входили Западная Украина и Западная Белоруссия. В Польше «А» сосредотачивалась промышленность, там пытались поддерживать развитие сельского хозяйства, там еще «кое-что» строили. Но Польша «В» существовала только для того, чтобы выкачивать из нее все, что там было. Туда почти не завозили товаров, а то, что завозили, продавали по более высоким ценам, чем в Польше «А».

Наглая эксплоатация и беспощадное угнетение, проводившиеся польской шляхтой в Западной Украине и Западной Белоруссии, поистине не знали предела. Оказывается: внутри Польши «В» существовали еще отдельные районы, которые сами поляки называли Польшей «С».

«Когда я посетил школу через год после ее основания, я не узнал нашу учительницу. Веселая, живая, энергичная девушка превратилась в мрачную, ворчливую, глядящую исподлобья. На все вопросы она отвечала коротко, уставившись глазами в пол: «Да, конечно, да, конечно...»

Положение складывалось очень печально. Что делать дальше? Оставить учительницу в деревне? Пройдет еще год-два, и руководительница местного просвещения так уподобится своему окружению, что ее цивилизаторская миссия сведется к нулю. При-

слать на ее место другую? А какая гарантия, что через год не придется произвести новую замену?»

На этом месте школьный инспектор сделал паузу, как бы подготовляя слушателя к тому поразительному сообщению, которое должно было последовать за этим вступлением. И не без самодовольства мудрый инспектор поведал о «соломоновом» решении, принятом им:

«В конце концов я решил учительницу не отзывать, а установить для школы две штатных единицы. В товарищи этой «пустыннице XX века» был избран молодой энергичный учитель, готовый вести здесь тяжелую пионерскую работу. И вот прошло несколько месяцев, и в глухой деревушке состоялась... свадьба обоих учителей. С тех пор просветительная работа в деревне пошла лучше...»

Читатель недоумевает: где в XX веке мог иметь место подобный случай? Где живут еще «культуртрегеры», подобные этому инспектору, так «чутко» понимающие «запросы женской души», так мудро строящие дело народного просвещения?

Веслав Верниц, автор очерка «Край десяти рек», помещенного в «Газете Польской» 20 августа этого года, из которого мы цитировали вышеприведенные строки, сам говорит, что история с этими учителями напоминала ему «экзотическую историю о двух белых, затерянных в какой-то девственной африканской пуще».

Однако случай этот имел место далеко от

Африки, в недавно существовавшей панской Польше, во вчерашнем Полесье, и описанная Веславом Верницом школа — «первая,— как он писал,— школа на этом краю света». И чтобы у читателя не создалось ложного представления, будто описанная деревушка являлась каким-нибудь исключением, автор очерка как бы предупреждает его:

«Это была типичная полесская деревушка, отдаленная от железнодорожной линии на десятки километров, лишенная дорог и даже тропинок, затерянная в пустыне трясин и болот. Добраться до нее можно только в пору суровой зимы, когда лед сковывает твердой пеленой проваливавшуюся под ногами человека землю, или в дни весенних наводнений, когда болота превращаются в огромные озера».

Веслав Верниц делал свои выводы из описанного им факта.

«Этот короткий рассказ,— писал он,— лучшим образом иллюстрирует борьбу пространства с человеком. Пространство на Полесье — самый большой враг всех завоеваний западной цивилизации, оно не допускает культурного развития местного населения, оно может благодаря своей пустынности и дикости довести человека, приехавшего сюда из города, до умственного состояния первобытного дикаря».

«Научную» несостоятельность этих выводов вряд ли стоит доказывать. История последнего двадцатилетия, в течение которого польская шляхта порабощала и угнетала на захваченных ею землях украинцев и белоруссов, дает нам другой пример, свидетель-

ствующий о том, что человечество в состоянии покорить и более обширные и более грозные пространства. Польские паны скрывали от народа достижения трудящихся Советского Союза на необъятных пространствах нашей страны и в первую очередь то, что сделано в Советской Белоруссии, от которой Полесье было насильственно оторвано в течение двадцати лет.

Польские паны скрывали от народа правду о Советской Белоруссии. Они преследовали белорусское слово на захваченных ими землях. Угнетенные панами белоруссы не могли знать прекрасную поэму «Над рекой Оресей», которую написал их народный поэт Янка Купала.

Он писал о прошлом этого края болот и трясин:

Ворон клюв свой свесил
Над гнилой колодой...
Приснились Полесью
Ушедшие годы.

Здесь век вековали
Тростник да осока,
Росли и сгнивали
В трясине глубокой.

А сколько ж трясина
Людей засосала:
Оступишься — сгинул,
Пиши, что пропало...

Янка Купала нарисовал унылый пейзаж, который двадцать лет тому назад был типичен для обеих частей Полесья.

И общая была тогда доля:

Был сказ нерушимый
На вечные веки:
Полещуки мы,
А не человеки...

И поэт написал о новых днях, когда в Советской Белоруссии на месте трясин и болот, над этой самой рекой Оресей расцвела новая жизнь.

Воспевают в песне
Труд и героизм,
Как в туман Полесья
Шел социализм...

В Советской Белоруссии было 3 миллиона гектаров болот — одна четверть территории, занимаемой республикой. За годы Советской власти осушено под пашню 113 400 гектаров болот, на протяжении 3 500 километров отрегулированы реки и водные системы.

Стихи Янки Купалы озаряются светом изумительных цифр. Близ реки Ореси вырос колхоз имени Белорусского особого военного округа. Он был организован на зыбких Марьинских болотах красноармейцами-отпускниками. «Руками самих колхозников,— писала «Правда»,— была построена узкоколейная железная дорога протяженностью в 14 километров. И на болотах загорелись огни новой жизни. 1 415 гектаров земли уже отвоевал колхоз у непроходимых болот, рождавших в прошлом голод, колтун, «лихоманку». Отменные урожаи снимает теперь колхоз на болотах: зерновые дают не менее 14,5 центнера с гектара. На бывших болотных топях обосновался но-

вый, благоустроенный колхозный поселок с электростанцией, неполной средней школой, клубом, детскими яслями, родильным домом, больницей, магазинами. Вдоль шоссе выстроились в ряд просторные и светлые дома. Колхоз построил 35 больших многоквартирных домов. Зажиточно живут колхозники. В прошлом году на трудодень было выдано по 4 килограмма зерна, 6 килограммов картофеля, 1,5 килограмма овощей и 4 килограмма фуража. Денежный доход колхоза в 1938 году составил чуть не полмиллиона».

В то время как тысячи людей с восхищением и восторгом осматривали на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке павильон Белоруссии, радуясь и восхищаясь победами человека над болотами, останавливались у панорамы, показывающей, в какой цветущий уголок превращены былые болота, вчерашние незадачливые польские правители устроили в Полесье свою «выставку» — открыли в Пинске «Полесскую ярмарку».

Польские газеты в конце августа, в последние дни владычества польской шляхты, поместили ряд очерков, которые должны были привлечь экскурсантов в Полесье. Это была поистине трудная задача. В самом деле, кто мог соблазниться поездкой в Полесье, прочитав в газете «Полония» очерк под названием «Стоходом и Припятью до Пинска»?

«Мы едем мимо убогих деревень и хуторов, — писал автор очерка, — проезжаем вдоль хат, на крышах которых стоят аисты, не удостаивая даже взглядом дымящее чудовище, проплывающее рядом с ними... Ог-

лушительный свист сирены соблазняет — преимущественно тщетно — жителей к путешествию. На голос ее из убогих и маленьких хаток выбегают заморенные детишки, наполняя шумом песчаные берега. Кое-где изредка ждет на берегу рыбак, предлагая купить у него пойманных им щук и окуней, или еще где-нибудь хозяйка пытается сбыть пару кур...»

В другом очерке в той же газете мы читаем:

«В маленьких, насчитывающих несколько тысяч жителей, полесских местечках можно найти иногда даже четыре кладбища. Самое большое по размеру и по числу могил православное кладбище, на нем нет каких-либо заметных тропинок, деревья растут так, как их посеял ветер... Сгорбившиеся стоят кресты, под ними редко где увидишь цветок, чаще заметишь яйцо и бутылку воды: эти дары положили на могилы мертвых их родственники в великий четверг, в день поминок, желая облегчить покойникам покаянные муки загробной жизни...»

Какие же свои «достижения» могла демонстрировать польская шляхта на «Полесской ярмарке»? Послушаем, что наиболее привлекательного нашел на этой ярмарке специальный корреспондент газеты «Час». «У самой реки,— писал он в номере от 20 августа,— есть типичный рыбацкий «курень», шалаш из камышей, в котором живут полещуки, отправляясь далеко за рыбой... Налево от пристани, напротив павильона рыб, «корчма» — большая полесская хата, крытая камышом, окруженная рядами высоких подсолнечни-

ков»... Курень и корчма — не достаточно ли красноречиво характеризуют «культурную» деятельность польской шляхты?

Польские писатели, описывая Полесье, старались больше внимания уделять тому, что они выставляли виновником всех зол и бед — природе, избегали касаться жизни людей, изнывавших и гибнувших в этих бескрайних болотах. В отличие от других, корреспондент «Роботника» уделил больше внимания экономическому положению жителей Полесья. «Мы хотели бы,— со вздохом писал он в номере от 22 августа,— видеть в Полесье край будущего, в котором полещук, поднятый на высшую ступень культурной жизни, получал бы от своего труда больше дохода, чем теперь. Мы хотели бы, чтобы рыбак-полещук мог ловить столько сомов и карпов, чтобы хотя часть из них мог съесть сам и не должен был бы питаться одними лишь противными вьюнами, маленькими рыбками, составляющими часто главный продукт питания полесской бедноты».

Но это оставалось несбыточной мечтой при владычестве польских панов. Корреспондент вынужден был констатировать, что при панах «культура еще не дошла до Полесья». «Светлая точка», которую корреспондент отыскал на ярмарке,— это изделия пинских гончаров — глиняная посуда, сделанная, как он умиленно отмечал, «простыми людьми», и «несомненно, самыми примитивными техническими средствами». «Толкотня, которая царила у прилавков с этой посудой, число горшочков и жбанов, которые переходили в руки покупателей,— пи-

сал он,— свидетельствовали о большом интересе, вызванном этими изделиями народного искусства среди гостей, посетивших ярмарку». «Ну, и эта необычайная дешевизна! — восторгался корреспондент.— Красиво сделанный изумительный горшочек в цветах — всего один злотый, а самый большой, в метр вышиной, художественно сделанный черный жбан — пять злотых!»

Но, может быть, показательнее всего в этой корреспонденции то, как автор ее объяснял эту восхитившую его дешевизну:

«Только низкие материальные потребности местного населения могли создать такую дешевую рабочую силу, чтобы произведения народного искусства могли перекочевывать в город по таким низким ценам».

Поистине готентотская мораль. Крестьяне на этой ярмарке покупали одну только соль, и для корреспондента ясно, что при их «низких материальных потребностях» им ничего больше и не нужно было...

Таково вчерашнее Полесье даже по не вызывающему сомнений свидетельству польских газет. Таков был мрачный пейзаж этого запущенного края, такова была тяжелая жизнь населяющих его людей.

Теперь открылась новая страница в истории Полесья. К непроходимым болотам и трясинам его пришли освободительные войска Красной Армии Страны Советов, принесшие на своих знаменах свободу и справедливость, новую жизнь, радостную и счастливую.

Сегодня полещук ходит по своей родной земле как хозяин, умудренный великой сталинской правдой, готовый строить новую жизнь по нерушимым законам ленинско-сталинской национальной политики.

Сегодня полещук избирает в народное собрание лучших людей своей земли, которые помогут ему скорее покончить с тяжелым прошлым. Сегодня полещук установил самую демократическую, самую справедливую власть — власть Советов.

Освобожденный труд, пробудившаяся инициатива, воскресшие народные силы превратят этот край болот и трясин в плодоносный уголок земли, и все богатства его будут принадлежать тем, кто будет работать на этой земле. Полещуки расправляют свои спины, в течение двадцати лет сгибавшиеся под ярмом помещика и жандарма, и берутся за героический труд, прославивший их братьев в Советской Белоруссии, воспетый лучшими поэтами белорусского народа.

И снова у них будет общая доля, но иная доля, счастливая, радостная, лучезарная. И будет один общий пейзаж, но иной пейзаж — светлый, ласкающий глаз, солнечный. Ибо и в унылом Полесье, там, где были болота, вырастут зеленые поля, обильно вознаграждающие пахаря за его труд. И будут казаться черным кошмаром рассказы польских писателей о том, как выглядело Полесье и как жили полещуки в печальную годину владычества польской шляхты.

5. В ПОЛЬСКОЙ КАЗАРМЕ

Система подавления человеческой личности проникала во все поры общественной жизни панской Польши. Но наиболее прочное гнездо свила она себе в польской казарме.

Послевоенное польское офицерство делило себя на две категории: одни — это те, кто половчее, кто сумел найти тепленькое местечко в каком-нибудь штабе или управлении, а другие — это «обойденные», которых судьба забросила в казармы и заставила возиться с «быдлом», как принято было в польских аристократических кругах называть народ.

И те, и другие считали, что они, «проливавшие кровь», заслуживают лучшей участи, имеют право на пожизненное безделье и удовлетворение всех своих потребностей и прихотей.

Марк Свида, герой романа Андрея Струга, должен был достать автомобиль, чтобы перевезти гроб капитана. «Марк,— пишет Струг,— нигде не мог «вырвать» военный автомобиль, хотя лазил всюду. В штабах, во всех учреждениях сидели старые знакомые, но ничего не выходило. Добрался до самого Дараша, товарища по школьной скамье. Новый генерал имел свою «резиденцию» в замке, во временном помещении, где-то в закоулке, среди перегородок, за которыми лязгали пишущие машинки. Он сидел посреди огромной пустой комнаты, похожей на конюшню, за большим столом, заваленным кипами бумаг. На грязном полу словно

в насмешку был разостлан прекрасный восточный ковер. Пышность его не умаляли ни загнутые края, ни островки, выеденные молью, наверное, еще где-то в Киеве... Генерал разжирел, черты его лица погрубели. Встретил Марка официальным, стеклянным взглядом. Одеревянелым жестом указал ему на другое кресло с поломанными ручками, обитое золотистой кожей. Едва только гость начал излагать свое дело, Дараш прервал его одним словом непререкаемого приговора.

— «Ausgeschlossen!»

— Нет, так нет.

— С неба, что ли, свалился? Автомобиль!

— Что значит: с неба? Для заслуженного офицера, который...

— Каждый из нас — «офицер, который». Но я тебе польским языком говорю, что у меня автомобиль забрали...

— Так бы и сказал...

— Экономия в первую очередь за счет армии, потому что мы уже не нужны. Польский мещанин пришел в себя после прошлогоднего страха, умылся и ему даже кажется, что от него не воняет. Что ж, подождем до следующего раза. Знаешь, за сколько теперь служит польский генерал? За два мешка пшеницы!! Офицеры подыхают с голоду или крадут. Немногие из нас выдерживают. Помнишь наши офицерские сто крон в первой бригаде? То был рай! В конце концов мне плевать на деньги! Хуже то, что мы утопаем в мерзости, в интригах, в склоках... Стискиваешь зубы и молчишь. Чего бы я только не дал, если бы мог хотя

бы один единый раз, не тратя много слов... Знаешь — на таком торжественном собрании в большом зале, за огромным столом, покрытым красным сукном,— вот, рыкнуть всю правду, так чтобы стекла задрожали!»

Вся эта сцена, выписанная Стругом любовно, с явным сочувствием к молодому генералу, достаточно ярко передает внутреннее состояние и ценность «лучшей» части польского офицерства.

Дальнейший этап жизненного пути генерала Дараша нарисовала Софья Налковская в своем «Романе Терезы Геннерт», выведя поручика Гондзилла. Он тоже представлял офицерскую «знать», и он не торчал где-нибудь в казарме, а работал в каком-то управлении и после занятий, важно шагая по нарядным улицам, раскланивался с сановниками в военной форме и в штатском; он завтракал даже с генералами и произносил жалостные монологи.

«Увы, армия не значит больше ничего,— вздыхал он подобно генералу Дарашу.— Теперь управляют дипломаты». И вместе с Гондзиллом Софья Налковская, подобно Стругу, сетовала на тяжелую долю офицерства: «Генерал Хостик,— писала она,— в продолжение зимы нигде не появлялся с женой, так как ему не на что было купить ей пальто».

Афериста и пройдоху Геннерта Гондзилл свысока называл мещанином. Но когда этот самый Геннерт пальцем поманил его и вовлек в аферу, он пошел радостно, без всякого сопротивления.

Гондзилл еще продолжал произносить высокопарные речи в духе генерала Дараша:

«У нас есть все, чем обладают другие страны, в чем мы завидовали им. Есть отечественное взяточничество, личные интересы, протекционизм, власть черни, крупные аферы, большие состояния, выгода, выгода прежде всего. Есть уже и пренебрежение к армии, науськивание на «военщину». Есть все. Вот как демократическое общество вознаграждает солдата за его жертвы, за его победы... А было время — пели иное, когда мороз пробегал по коже от страха...»

Поручик Гондзилл не обращал внимания, когда собеседник возражал:

«Ваши труды были напрасны, так как ничто не изменилось: тюрьмы переполнены, а на улицах безработных разгоняют прикладами. Вот какова ваша Польша!»

Поручик спокойно перешел от слов к делу: «вместе с другими, одним чиновником и двумя «штафирками», он зарабатывал крупные суммы, пуская в оборот казенные деньги и спекулируя, кроме того, на военных поставках».

А когда это обнаружилось, никто не удивлялся.

«Дело самое обыкновенное,— вынуждена была признать Налковская словами одного из героев романа,— чересчур обыкновенное, просто он брал казенные деньги из кассы и пускал их в оборот... Воровал... Воровал... О чем тут говорить!.. Это как нельзя лучше обрисовывает условия, установившиеся в нашем молодом государстве».

Такова, стало быть, лучшая часть польского офицерства. А ведь другая часть,

действительно, была значительно хуже. Именно она сделала своей специальностью глумление над солдатами, над рабочими и крестьянами, попадавшими в польскую казарму. Она изощрялась в изобретении мер и способов калечить человеческую личность, убивать в солдате все человеческое, превращать его в безропотного исполнителя ее воли, ее прихоти и самодурств.

Польская цензура особенно усердствовала в том, чтобы дела и дни польской казармы не проникли в польскую литературу. Однако и здесь мы имеем два произведения, проливающих достаточно яркий свет на то, что творилось в этих застенках, гордо именовавшихся польской армией.

Одно из них — рассказ известного польского писателя Збигнева Униловского «День новобранца», несколько лет тому назад напечатанный в польской литературной газете «Вядомосьци литерацке» («Литературные ведомости»). Появление этого рассказа ознаменовалось скандалом. Военные организации перестали выписывать эту газету. Военным было запрещено выписывать и читать ее. В печати, в том числе и в официозной «Газете польской», появились протесты против опубликования этого рассказа.

Что же вызвало такое волнение в кругах польской военщины? В первую очередь именно то, что в нем было показано офицерство «второго сорта».

Збигнев Униловский в своем рассказе описывает свои личные переживания в поль-

ской армии, в которой он служил рядовым. Вот как он передает свою первую встречу с капитаном Гулькой:

«...Ну, ладно! Прежде чем пойти к лошадям, вычищу зубы у колодца, я их не чистил с тех пор, как нахожусь здесь. Беру из сундука зубную щетку и порошок и выхожу из опустевшего барака. Солнце уже взошло. Во дворе пусто, воздух сухой и морозный, ветрено. Обхожу барак: колодец находится с той стороны. Вдруг слышу за собой пренеприятный голос:

— Эй, ты, стой!

Бегу, но слышу вторично тот же окрик, только с намеком на чью-то мамашу. Оглядываюсь и издали узнаю сухую фигуру капитана Гульки, которого мне вчера обрисовали как чудовище. Он стоит неподвижно, похожий на голенную кость, воткнутую в землю, весь залитый солнечным пурпуром.

— Эй, ты, котенок, о тебе речь идет, а не о солнце. Разве не видишь, что кругом ни одной живой души! Ну, живо ко мне!

Он стоял, закинув руки назад, в шинели из жесткого сукна и сапогах с мягкими, в складках, голенищами.

— Слушайте, я видел, как вы шли. Солдат так не ходит, так ходит последняя проститутка в дождливый, неудачный вечер.

Капитан Гулька говорил тихо и спокойно, стоял неподвижно и выглядел препротивно.

— Что у вас в руках, покажите!

— Простите, в левой руке у меня порошок, а в правой зубная щетка. Я несколько дней не чистил зубы; я не привык к этому. Я шел к колодцу, намереваясь почистить зубы.

— Это невероятно! Таскаетесь по плацу, пялитесь на солнце и хотите заниматься гигиеной. Послушайте, из каких вы мест?

— Я родился и постоянно живу в Варшаве.

— Значит, мещанин, недотепа и интеллигент? А я родом из Познани и поэтому хороший солдат; вам же, избалованному столичному жителю, никогда таким не быть. И я должен прозябать здесь и смотреть на такую гниль, как вы. Знаете ли вы, что во время войны я во сто раз больше стою, нежели теперь? Можете итти. Ступайте в конюшню к капралу Сончку и скажите ему, что я вам приказал подмести этой зубной щеткой конюшню. Ну, живо!»

При следующей встрече капитан Гулька более полно изложил свое «кредо». Встреча произошла в уборной, когда автор чистил ее.

«Ах, это вы? Вижу, вы продвинулись по службе. Импонирует мне ваша быстрая карьера»,— этими словами Гулька приветствовал новобранца, а когда тот высказал свое недовольство, ссылаясь на то, что он гражданин и с гражданином так разговаривать не полагается, капитан закричал:

«— Никакой вы не гражданин, а просто дермо. Вы не видели войны! Что я здесь делаю? Верно. Сам не знаю что... Разве то, что в данный момент разговариваю в сортире с таким прохвостом, как вы. Что вы можете знать обо мне. Я был четыре раза ранен, я...»

«— Я не хочу слушать все это»,— снова возразил новобранец.

«— Вы должны слушать... Моя жена, учительница, говорила мне, что вы пишете книги. Ни с кем, кроме вас, я здесь поговорить не могу. С полковником и моими товарищами я могу только пить в этой проклятой дыре. Большинство из тех, кто был со мной на фронте, занимают сейчас высокие посты в столице или других городах! В штабах! Они — майоры или полковники. А я что? Я сражался так же, как и они, и мозги у меня не хуже ихних. А здесь что? На брюках у меня заплаты, а посмотрели бы вы, как одета моя жена. Ступайте на двор посмотреть на эти заплаты, собачья мать!»

И капитан Гулька, задрав шинель, демонстрировал свои заплаты, покрикивая: «А тогда я был вам нужен, собачья мать!»

При таком облике капитана можно представить себе поведение остальных чинов.

Новобранец явился в околоток к врачу. Он жаловался на боль в легких и положил на стол рентгеновские снимки.

«Это что за гадость лежит здесь на столе?» — кричит врач, а когда ему говорят, что это рентгеновские снимки, он продолжает: «Это еще что за изобретенье?.. Вы здоровый бык и обманщик. Это ясно. Тут не нужно никакого исследования. Думаю, что одна неделя уборки сортиров повлияет благотворно на ваше здоровье. Этот воздух — знаете...» И он швырнул за спину конверт со снимками. А когда новобранец захотел поднять их, фейерверкер не разрешил, «чтобы больше не морочить этим голову господину майору».

Подстать этим высшим чинам капрал

Шрамек. Сперва он относится «хорошо» к новобранцу, так как знает, что он писатель. Но тут же предупреждает: «Некоторое время буду с вами любезней и снисходительней, а потом возьмусь за вас, как за какую-нибудь шлюху». Это «некоторое время» длится меньше суток. Уже в тот же день он гоняет его, приказывая чистить конюшню, а затем убирать сортиры по предписанию врача. В промежутке зовет к себе, заставляя чистить грязные сапоги. И может быть, нравственный облик капрала Шрамека предстает во всем блеске, когда он у себя дома показывает новобранцу-писателю висящую на стене фотографию, приговаривая: «Это не какая-нибудь шлюха... Это не какая-нибудь судомойка, воняющая щами. Это моя невеста».

По этим «аристократам» равнялись даже повара. «Эти быки в белых передниках имеют свои забавы. Они разливают горячий суп всегда так, чтобы потекло по пальцам. Кусок мяса швыряют в кашу с такой силой, что на лице новобранца вмиг образуется сияние из каши».

И так все: «Насмешливый тон по отношению к новобранцам господствовал во всем полку, от капитана до ефрейтора, тоном этим была пропитана вся атмосфера, даже лошади глядели на нас с иронией».

Униловский показал обычные нравы польской казармы, где, как он пишет, «каждый старался сделать пришедшего туда идиотом вместо того, чтобы научить чему-нибудь», где новобранцу не переставали «твердить о его скотстве, идиотизме, хамстве или легкомысленном поведении его матери».

Значительно больший интерес имеет повесть польского писателя Адольфа Рудницкого «Солдаты», представляющая собой записки польского солдата, запечатлевшего изо дня в день свои переживания и наблюдения на военной службе. Эта книга вскрывает всю систему насаждения безропотной покорности, угодливости, лицемерия, подсиживания, выслуживания.

Об унтер-офицере Сковирде Рудницкий писал: «В нем не было абсолютно никакой страстности, а такие умеют быть страшными! Он издевался над нами — говорю это с глубочайшим убеждением — для развлечения, для забавы». Ему ничего не стоило разбросать все солдатские койки, чтобы заставить солдат заново убрать их. Ему доставляло удовольствие принуждать солдат летом выгребать золу из печи, лишь бы не дать им свободной минуты для передышки. Он изобретал всякие новые «упражнения» вроде прыжков на корточках, с сундучками на головах. «Это была пытка,— пишет Рудницкий,— во сто крат тяжелее, чем побои, так как проводилась ежедневно и беспрестанно. Ты был игрушкой в руках этого изверга. И он был неутомим».

Не лучше Сковирды был капрал Виттек. «Он умел мучить людей так искусно, так утонченно, что ошеломленный, запуганный новобранец думал, что он этого не перенесет». И у него были свои «изобретения», развлекавшие его: он заставлял новобранцев ставить манерку себе на голову и бегать так вокруг всей палаты, повторяя какие-то унизительные слова.

Рудницкий писал: «Всеми этими мелочами военная дисциплина усиленно пользовалась для уничтожения индивидуальности, чтобы убить в солдате уважение к самому себе, доказать ему, что и он сам, и вся его работа — ничто». Превратить человека в безличное существо, в покорную и безвольную машину, безропотно выполняющую волю начальства — такова основная цель «воспитания» польского солдата.

И Рудницкий показал, к чему приводила эта система. У тех, кто в первые дни службы был способен протестовать, рождались покорность, услужливость, подхалимство. Человек терял свои индивидуальные черты, убеждения. «Стоило посмотреть, как нас научили пренебрегать своими убеждениями. Нас так вышколили, что если только капрал или какой-нибудь другой начальник вызывал охотников на самые отвратительные работы, от которых каждый рад был бы избавиться, то мы немедленно хором изъявляли свое желание, потому что именно так следует поступать, если хочешь, чтобы тебя не послали. Нас так настойчиво перевоспитывали, так долго вдалбливали нам, что мы всегда должны быть готовы к услугам, что мы сами прониклись этим убеждением. С течением времени мы стали соперничать из-за возможности оказать хоть малейшую услугу унтер-офицерам; принести им обед — это была для каждого высокая честь».

Донести на товарища, подсиживать, издеваться над тем, кто в опале у начальства, чтобы понравиться начальству,— все это вошло в правило казарменной жизни. «Бата-

рея очень быстро улавливала, кто в опале, и к такому приставали только ради того, чтобы понравиться начальству. Потом вошли в употребление «одеяла» — к упрямцу украдкой подходили сзади, заматывали его в одеяло и избивали до крови».

И в другом месте: «Для Манецкого возможность итти рядом с капралом и ябедничать на увиливавших от работы солдат — такой большой праздник, что он весь сияет».

Старые солдаты до глубины души ненавидели молодых, считали их теми объектами, на которых можно выместить свои обиды. «Они били нас по морде, мы бьем вас, а вы будете бить тех, кто придет после вас»,— таков был закон «товарищества» в польской казарме.

Казалось бы, при таких порядках и нравах в казарме можно было бы ввести «равноправие» для всех национальностей. Но оказывается, все перечисленные издевательства и пытки только цветочки в сравнении с теми ягодками, которые уготованы были в польской казарме для украинцев, белорусов, евреев.

Рудницкий описывает, как тяжело приходилось украинцам из-за незнания польского языка.

«Ко мне,— рассказывает он,— очень привязался один из украинцев, по имени Курило. Это был очаровательный и удивительно забавный человек. Часто он говорил мне: «Мы будем с тобой как братья; я с тобой поделюсь, ты со мной поделишься, я тебе

помогу, ты мне помогай». Он мечтал, что по окончании службы мы вместе поедем в деревню к его родителям, где люди совершенно иные, гораздо лучше и добрей. «Поляки злые,— жаловался он,— смеются надо мной, издеваются, надоедают».

Очаровательный, дорогой Димитрий! Я вижу его, как будто он сейчас стоит передо мной, высокий, сильный, с глубокими глазами, с длинным, тонким носом. Он не мог произнести правильно по-польски ни одного звука.

Своим произношением Курило доводил унтер-офицеров до бешенства. Объяснил, например, отделенный, из каких частей состоит замок у пушки,— из рукоятки, затвора, рамы, дверец, запальника и т. д. Когда наступила очередь Курило повторить описание замка, он растерялся и бормотал так, что ничего нельзя было понять.

Унтер-офицер смотрел на него вытаращенными глазами: «Что, что, что, что?» А Димитрий со слезами уверял его, что он все понимает, но он все это может хорошо объяснить только на своем языке. Действительно, на полигоне Димитрий Курило был самым первым, самым лучшим замковым полка.

Милый, дорогой мой, любимый Димитрий!»

Украинских крестьян заставляли петь польские песни, которых они не знали, а чудесные украинские думки вызывали злобу начальства, и солдаты-украинцы имели возможность петь их только украдкой по вечерам в сенцах, за несколько минут до ве-

чернего сигнала, во время чистки сапог. «Голоса у них,— пишет автор,— были глубокие, сильные, сходные по тембру и чудесно передававшие настроение песни. Я не мог спокойно слушать их пение, оно пробуждало желание уйти куда-нибудь подальше. Но уйти было невозможно. Я выходил во двор, но страшная тишина ночи производила на меня гнетущее впечатление».

Но может быть, самыми мрачными часами в казарме для неграмотных, забитых, только что пришедших из деревни украинских крестьян были те часы, когда их принуждали заучивать наизусть фамилии всех начальников, от унтер-офицеров до президента. «Это, —пишет Рудницкий,— было для них тяжелее всякого физического истязания». Бомбардир Мазур, проводивший преподавание устава после вечернего сигнала, «бегал от койки к койке, грозил, клялся, что не позволит произнести ни одного слова по-украински, пока они не запомнят всех фамилий и названий чинов и не будут петь их наизусть, как молитву». Но как было постичь им эту премудрость, в особенности когда это учение производилось перед сном, после непосильного труда и муштры?

Рудницкий описывает один характерный эпизод. Поручик Офярный разбудил украинца Прокопчука. Прокопчук не был в состоянии усвоить имена и звания начальников. Однажды он даже ответил на вопрос, кто президент республики: «бомдардир Мазур». Он был неравнодушен к звуку «р», повторял его, вставлял в каждую фамилию, и это давало повод для дополнительных насмешек.

И вот у поручика с Прокопчуком возник такой диалог:

«— Кто командир батареи?

— Пан капитан Дрзентерловский (настоящая фамилия Дзентеловский).

Поручик улыбается.

— А кто я?

— Пан поручик Офярррр...

— Ну, а кто я такой?

— Офицер батаррреи.

— Ну, хорошо, хорошо. Если ты таким темпом будешь учить устав, то до караульной службы дойдешь вместе со своим внуком.

— А у него уже сын есть,— замечает кто-то.

— Женат? — спрашивает поручик.

— Нет, пане поручик.

— Но сына имеет,— настаивает тот же голос.

— А у тебя сын есть, Футерман?

— Холостой кавалер, пан поручик.

— Кавалер слепой кишки (Футерман жаловался на болезнь слепой кишки), из носа у тебя капает. Может быть, ты знаешь устав? Сейчас услышим. Какие обязанности караульного на внутреннем посту? Что такое внутренний пост? Говори! Скорее! Смотри, как у Прокопчука глаза блестят, он прямо рвется отвечать...

Прокопчук вскакивает испуганно.

— Я — нет, пане поррр...

— Ты нет? Хорошо! Садись! Футерман, говори скорее! Поезд в Ровно уже отошел! Не засматривайся на запад, а то солнце покраснеет. Эх вы, нищие на паперти, собачья кровь! Футерман, Футерман, столб по

тебе соскучился. Видишь, как он улыбается. Ступай, поцелуй его три раза».

Затем следуют такие же издевательства над украинцем Хвытько и евреем Ризинбергом, после чего снова раздается голос Футермана:

«— Пане поручик, канонир Футерман докладывает, что приказание выполнил.

— А-а, столб поцеловал?

— Так точно».

И это была система.

Поручик Загорский во время урока разбудил изможденного, усталого, со слипающимися глазами украинца Дыменко.

«— Дыменко, ты что спишь здесь?

— Я? Нет, пане поручик.

— Слушал?

— Слушал.

— Так скажи, какая самая главная добродетель солдата, из которой вытекают все остальные?

Дыменко, конечно, спал и теперь должен прислушиваться к тому, что ему подсказывают окружающие. Дыменко неграмотный. Он слышит, как кто-то ему подсказывает — «честь» и говорит:

— Добродетель есть честь.

— Какая честь? — притворяется удивленным поручик.— Разве та, что в конюшне? (В конюшне была лошадь «Честь».)

Дыменко понимает, что он ответил плохо... Дыменко повторяет за одним из подсказывающих, что наивысшая добродетель солдата есть любовь к родине.

— Любовь к родине,— вы понимаете это? — обращается поручик к солдатам.

— Так точно, пан поручик».

Как поняли польские солдаты любовь к родине, они показали в недавние дни. При первом военном столкновении обнаружились результаты того жестокого палочного «воспитания», которое проводилось в польских казармах. Польские солдаты, в первую очередь украинцы, белоруссы и евреи, оглянувшись на свои бараки и убогие хаты, на свою холодную и голодную жизнь так же, как крестьянин Кржисяк из повести Ванды Василевской, увидели, что у них нет родины, которую стоило бы защищать, за которую стоило бы бороться. Они учли урок крестьянина Поланеца из романа Яна Виктора «Вербы над Сеной», который после польско-советской войны 1920 года решил: «Если еще раз вспыхнет война, я буду знать, против кого мне итти с винтовкой».

Польская правящая клика сделала все посильное, чтобы удушить культуру народов, населявших Польшу. Панская цензура и панская жандармерия душили и польскую литературу. Но правда прорывалась на страницы польской литературы, и эти страницы расскажут будущим поколеньям о режиме насилия и угнетения, проводившемся польским буржуазно-помещичьим строем, и эти страницы будут звучать в веках суровым обвинением и приговором.



Ц. 50 коп.



